

ОУИ НБ МГУ №1878

О детстве в Молдавии, эвакуации в Ташкент, ссылке в Сибирь и об иррациональном увлечении кино

<http://oralhistory.ru/talks/orh-1878>

9 марта 2015

Собеседник

Клейман Наум Ихильевич

Ведущий

Голицына Екатерина Андреевна

Дата записи

Беседа записана 9 марта 2015 и опубликована 27 января 2016.

Введение

В первой беседе киновед Наум Ихильевич Клейман рассказывает о том, как его предки оказались в Бессарабии, о своем деде-сапожнике и о том, как от первых погромов его семью спасали соседи-болгары. Первые воспоминания самого Наума еще о довоенном времени: «кабинетная» коляска и деревянный конь, полученный на второй день рождения.

Память трехлетнего ребенка зафиксировала начало войны: свист бомб и маму, которая заворачивает его в плед и тащит в подвал. Затем — эвакуация (во время которой в Ташкенте он впервые оказался в кино и был покорен этим зрелищем, как оказалось, навсегда) и жизнь в Туркмении.

После окончания войны Клейманы вернулись в Молдавию, но спустя пять лет всю семью с абсурдной формулировкой «как родственников бывшего торговца» в 24 часа выслали в Сибирь — в спецпоселение. Почти все их имущество, в том числе только что восстановленный дом, было конфисковано. Пережить эту трагедию помогли учителя двух новых сибирских школ, очень тепло относившиеся к ученикам, вне зависимости от положения их родителей.

Год окончания школы — 1955-й — совпал с началом освобождения таких спецпереселенцев, как семья Клеймана, и Наум отправляется поступать в Киргизию, в Университет Фрунзе. Когда он отучился первый курс на математическом факультете и сдал два экзамена из пяти, произошло удивительное: увидев объявление о приеме студентов во ВГИК, студент Наум Клейман несмотря на отговоры, бросает все и отправляется в Москву.

Екатерина Голицына: Расскажите, пожалуйста, Наум Ихильевич, о вашей семье, детстве, фамилии. Вы говорили, что недавно вы узнали какую-то новую версию, правду о происхождении фамилии.

Наум Ихильевич Клейман: Да, фамилия — я до сих пор не знаю всех деталей, но как мы все, к сожалению, не интересуемся до определенного возраста генеалогией, это и не было принято. В Советском Союзе считалось, что только можно было хвастаться рабоче-крестьянским происхождением, но это не значило, что люди помнили даже имени дедушки и бабушки, это, к сожалению, не поощрялось.

На самом деле я хотел бы начать вот с чего. Когда человек начинается, китайцы считают не с момента появления на белый свет, а с момента зачатия. И может быть, это правильно, потому что на самом деле мы формируемся девять месяцев в утробе наших мам, воспринимая бессознательно то, что они переживают, и каким-то образом мы формируемся, какой сложнейший механизм наследования там работает, мы до сих пор не понимаем. Миллионы лет, а не просто за те тысячи, сколько существует человечество, потому что мы проходим, как известно, и рыбью стадию, и звериную стадию. Но даже если взять чисто человеческую, что мы знаем, каким образом формируется наше существо, которое потом вынуждено жить в этом свете и вступать в контакт с другими людьми, со своим временем. А на самом деле оказывается, что это очень важный этап. И вот Эйзенштейн, которым я занимаюсь столько лет, полагал, что это девять месяцев пребывания в раю, если нормальные обстоятельства, а не мучительные для будущей роженицы, то это прообраз того рая, который был потерян человечеством. И обещание того рая, которого оно ждет как бы за пределами нашего существования, и, может быть, мечта о золотом веке, который, может быть, наступит на земле. В это время формируется то ощущение гармонии с внешним миром, который для нас с утробы матери — это гармония с внешним миром.

” А потом все травмы реального мира накладываются на эту картину гармонии, и нас все время держит это ощущение гармонии внутри этих иногда невыносимых обстоятельств, вера в то, что она возможна, она реальна, а не выдумка.

И искусство поддерживает именно это чувство. Оно не просто каким-то своим контентом, как сейчас говорят, содержанием воздействует, уча нас нравственности или решать какие-то проблемы психологические, а главное — оно своей структурой гармонии напоминает о том утраченном рае девятимесячного существования и о том, может быть, рае, который мы обретем. В этом смысле я думаю, что мы должны очень внимательно относиться к нашим мамам и к нашим папам, понять, что же мы от них в наследство получили, и понимать, что мы не сами по себе, а что мы результат сложнейших комбинаторных сочетаний ген, которые каким-то образом сливались и каким-то образом формировали поколение за поколением, то есть мы являемся лишь звеном в какой-то цепи.

И я думаю, что истинный историзм состоит совсем не в описании битв и исторических свершений того или иного государства, к чему мы привыкли. Нам все время говорят: история — это история государства, свершений, слияний, укрупнений, побед и так далее, иногда и поражений, но тем не менее, прогресса социального и государственного.

” А на самом деле история — это комбинаторика обстоятельств и генов, которые рождают самые непредвиденные сочетания, необходимые сегодня и сейчас.

Я иногда так спрашиваю себя: «Оправдал ли ты вот то, что каким-то образом этот вероятностный процесс истории (а это вероятностный процесс, правда?) привел к тому, что ты оказался здесь на этом месте в это время в этом сочетании генов? Наверное, у тебя была какая-то миссия, если можно так сказать, а может быть, не было миссии, а так случилось, что ты вынужден был решать вопрос, не тобою придуманный?».

Мне кажется, что здесь говорить об уроках истории и пытаться понять какие-то закономерности, которые проявляются через эту случайность, через это кружево случайностей, то мне кажется, что смысл именно в том, чтобы соотнести то, что тебе досталось по наследству как главное богатство, не внешнее — то богатство, которое было накоплено нашими предками, которых мы не знаем (чаще всего не знаем за три поколения до себя) и которое мы обязаны передать тем, кто после нас будет, а мы не знаем, кто они будут. Но этот маленький фокус, наведенный на историю, через тебя, — а там всё туман.



И если удастся вдруг какую-то навести резкость на то, что было в прошлом, то вдруг ты начинаешь понимать: боже, какая, однако, увлекательная вещь история и какой это бесконечный сериал, от которого невозможно оторваться.

Я, к сожалению, очень многого не знаю, действительно, о своей семье. Но кое-что, то, что я знаю, заставляет меня думать о том, что человечество идет в потемках, иногда утрачивая то, что, казалось бы, является завоеванием и достижением осознанным, и вдруг теряет это. То есть идея прогресса, линейного, уже, понятно, не работает. XIX век считал такой однонаправленной стрелу прогресса.

В 70-е годы вдруг в Молдавии, где я родился, где жили мои родители, появился человек, о котором мои родители не знали ничего с 30-х годов, потому что мы родились все в Бессарабии, это та часть Молдавии, которая расположена между Днестром и Прутом. Это было такой переходящей монетой, эта территория была то под турками, то под Российской Империей, и потом она стала Румынией, как раз когда я родился, это было Румынское королевство, 37-й год, это между 19-м и 40-м годом — часть Румынии. И тогда многие уезжали из Бессарабии, потому что она была в общем-то не очень развитой провинцией Российской Империи, отмеченной очень многими трагедиями, о чем я потом еще скажу. Один из родичей отца, по отцовской линии, уехал куда-то и канул. Тогда очень трудно было общаться, особенно через все катаклизмы XX века, его потеряли. Оказалось, он опустился в Аргентине, как-то там преуспел, чуть ли не стал владельцем какого-то универмага, и, выйдя на пенсию, стал заниматься генеалогией нашего рода. Это по бабушкиной линии через папу. И он приехал в Советский Союз, чтобы собрать сведения о тех, кто выжил в войну, он ничего об этом не знал, какие дети еще родились, у него было дерево нарисовано.

Папа встретился с ним, хотя его, так сказать, сдерживало немного то, что мы пережили ссылку в Сибирь в 49-м году, и всякие контакты с иностранцами не очень поощрялись в Советском Союзе. И папа честно признался, что он, когда получил письмо от человека, которого он считал уже как бы потерявшимся, скажем так, он подумал минуту, надо ли идти. Но пересилил себя, устыдился своего страха, скажем так, пошел к нему в гостиницу. А ему пришло письмо, приглашение на адрес наш домашний. Он пришел в гостиницу и узнал, что составляет это генеалогическое древо моей бабушки, папиной мамы, и нашлись документы до XVII века, древа. Был какой-то раввин в Вене в начале XIX века или в середине XIX века, у которого было очень много детей. И они разъехались по этой Австро-Венгерской империи, Галиции. А это был такой котел, где соседствовало очень много народов, много этносов, со всеми конфликтами, которые сопутствуют такому общежитию, но и со всеми плюсами общежития. Я могу, например, так, в скобках, сказать, что моя бабушка по маминой линии говорила на пяти языках, не кончив никакой школы. Она говорила кроме идиш, русского, молдавского, или румынского, как сейчас говорят, румынского, она говорила на болгарском и турецком. Потому что в городе Болграде, где она жила (это был болгарский город беженцев из Болгарии от турецкого ига, но там жили и гагаузы, то есть христиане-турки, и все жили вместе), все говорили на пяти языках, это считалось нормальным. И когда случился погром в 18-м году, то мою семью, мамину, спас болгарин.

Я должен сказать, что это сочетание народов, через которое прошла моя семья, оно далеко не всегда было враждебным, и это мало освещается в литературе. Я сегодня думаю о том, что мы очень мало уделяем внимания *сожительству* разных этносов и их помощи другу другу и взаимообогащению. Потому

что я уверен, что несмотря на то, что не поощрялись браки евреев с другими народами, при всем при том всегда были инородцы, которые приходили в эту семью, и слава богу, потому что близкородственные браки, как известно, ведут к вырождению. А евреи впитывали в себя очень много, и в Испании, и в Германии, и в Голландии, да я женат на русской был, и дочь наполовину русская. Я считаю, что это благотворно для народа, когда вбираются не только гены, но и наследие культурное, внутрь цивилизации своей, и тем самым цивилизация становится единой.

Так вот, и возвращаясь к этому раввину: он своих детей как бы распределил по огромному ареалу, и один из его сыновей приехал в Бессарабию, женился на местной. И это был дед моей бабушки. Причем якобы генеалогия с XVIII века прослеживается его, потому что, несмотря на нацизм, австрияки сохранили синагогальные книги, и там прослеживается это. Меня это очень заинтересовало, потому что я таким образом узнал, откуда идет эта линия и откуда идет моя фамилия, кстати, как выяснилось. Выяснилось, что мой дед по отцовской линии, который женился на этой бабушке, имевшей венских родственников, звался вовсе не Клейман, а фамилия его была Рошка или Рошу. Рошу — это рыжий, папа мой рыжий был, дедушка был русый, с серыми глазами. Это прозвище, прозвище испано-португальское. Да, значит, это сефарды, сефарды, которые шли югом, когда их изгнали в XVI веке из Испании, они югом шли через Италию, а частично Сербию, в Болгарию, в Турцию и дошли до Бессарабии. И по этим преданиям, дедушка тоже был в многодетной и очень бедной семье. Они были сапожники, дедушку научили быть сапожником. А у него был дядя по материнской линии по фамилии Клейман, который был бездетным, который его усыновил и дал свое имя. Таким образом, у меня фамилия моей бабушки, моей родни. А это, в общем-то, австрийская фамилия, клейман — «клеверный человек» по-немецки, то есть это в XVIII веке мои предки получили такую фамилию. А настоящая фамилия деда Рош.



Что я знаю о семье? Ровным счетом ничего, кроме вот этого эха, через имя дошедшего испанского какого-то, несколько столетий пребывания в Испании или, может быть, в Португалии.

Еще одна неожиданная находка была в прошлом году. Один из моих родственников, который живет в Эстонии с советских времен, Юра Раппопорт. Фамилия Раппопорт — моей бабушки по маминой линии, но для меня какая-то была абстрактная еврейская фамилия Раппопорт, что я знал про нее? И вдруг эти Юра и его брат Миша заинтересовались генеалогией, нашли своих родичей, эти родичи в Америке раскопали всю линию Раппопортов, и выяснилось, что в XVI веке в Венеции приехал какой-то другой раввин тоже, который был мудрый и справедливый, его прозвали рапо ди Порто, то есть раввин из Португалии. И вот от них пошли все Раппопорты. И выяснилось, кстати, что Ксения Раппопорт, актриса, моя родственница, действительно, она троюродная сестра моих двоюродных братьев. Но так или иначе это прошлое на самом деле вдруг придает нашему отрезку истории, который ты проживаешь за отпущенные тебе годы, вдруг такое эхо в веках, и ты начинаешь понимать, как непросты судьбы родов и генов, которые до тебя дошли.

Когда я первый раз попал в Амстердам, у меня было странное ощущение, которое называется дежавю: я знал, куда идти, я не знаю, почему, я знал, что будет за этим поворотом. Я первый раз вышел в город, и я шел по нему, как будто я там был много раз. Я не хочу сказать, что мы наследуем память наших предков, но я вполне допускаю, что кто-то из моих предков был, прошел через Голландию. Бог знает почему, но я себя там чувствовал абсолютно в своей тарелке. Притом что, как ни удивительно, уже культурно я пустил корни в России, и я считаю Россию все равно своей родиной, притом что родился в Молдавии, да, не только потому, что Молдавия была завоевана Российской Империей. И в той деревне Романовка, она же Бессарабка, давшая название всей области, проходили те самые бои против турков, когда Кутузов воевал Измаил. Прямо там сохранились рвы XVIII века, это было генеральное сражение перед взятием Измаила. Но это уже культурная генеалогия, о которой, наверное, надо говорить отдельно, кроме того, что в нашей семье всегда очень уважали русский язык, все говорили по-русски, бабушки, тетки мои. Одна тетка тайком читала «Цемент» Гладкова, который был запрещен в королевской Румынии, потому что был из Советского Союза. А она говорила (*шепотом*): «Боже, какая интересная литература, совсем другая, не такая, как „Анна Каренина“». А «Анна Каренина» была, естественно, любимый роман.

О русской и еврейской культуре. О семье

Е.Г.: То есть классика только разрешена была?

Н.К.: Конечно, ну естественно. Но понимаете, особенность еврейского населения в Бессарабии была в том, что она, сохраняя насколько возможно, свою самобытность, все время была в состоянии отклика на другие культуры. То есть русская культура находила очень серьезный отклик не только потому, что это была великая литература, это язык, на котором как бы общались официально, — это была оценка красоты языка народом, который прошел через много языков. Вы знаете, я могу вспомнить, что моя бабушка когда-то, которая очень правильно и точно говорила по-русски, у нее был хороший литературный русский язык, притом что она не кончала гимназии, как вы понимаете, и которая знала эти пять языков спокойно, она мне говорила, что на русском ей самая прекрасная форма мышления, на русском ей легче думается. Удивительно, я услышал впервые ее рассказы на русском языке, естественно, потому что я других языков [не знал], — молдавский, был одним из первых двух языков, на котором я говорил, но я его забыл совершенно. А она мне рассказывала даже историю нашей семьи, рассказывала о Библии, но на русском языке это звучало абсолютно органично. То есть я к тому говорю, что, находясь в Бессарабии, обе семьи, папина и мамина, были причастны к русской культуре не только официально, потому что они были подданными Его Императорского Величества Николая Второго. А они были подданными и Толстого, они были подданными Пушкина, они были подданными Чайковского, они знали это и любили это. Притом что, повторяю, у них не было классического образования, только одна моя тетка училась во французской

гимназии, но это дедушка, когда он уже немножко поправил состояние семьи, мог себе позволить одного ребенка отправить в гимназию.



С бабушкой. Молдавия, 28 июля 1939

Е.Г.: Семья большая была?

Н.К.: Семья была не очень большая. Вообще у дедушки было много братьев и сестер и у бабушки были братья и сестры. Поэтому поскольку у евреев очень ценятся и двоюродные, и троюродные — это все члены семьи, так семья кажется огромной. Но сама семья — было трое детей у дедушки с бабушкой. Папа — старший сын и две сестры младшие, и папа, естественно, должен был помогать дедушке в сапожном деле. В общем, дедушка был очень хороший сапожник, настоящий, замечательный закройщик обуви, он замечательно рисовал, а поскольку это не поощрялось — евреям же запрещено, как и мусульманам, изображать реальный мир, дедушка рисовал орнаменты и делал модели обуви. И этим прославился, очень был востребован. Он с товарищами основал маленькое такое товарищество, они стали делать обувь и сами продавать. Тем самым они не давали кому-то наживаться на их труде, за что дедушка потом и расплатился, потому что в 40-м году, когда пришла советская власть, его обвинили в том, что он торговец, сослали на Урал, где он и погиб в 41-м году.



Мама, папа, папина сестра Ревекка и неизвестная. 23 июня 1934

Вообще он был очень добрый человек, в отличие от бабушки, которая была очень деловая и очень практичная, земная, дедушка был мечтатель, и раздавал все. Если человек приходил и говорил, что у меня растет ребенок, и у меня нет денег, но нужна обувь, дедушка брал с полки и отдавал, не прося денег. Бабушка не принимала, она считала: как же так, ты работал, а ты отдал просто так? Дедушка отвечал: у него же нет денег, а ребенок растет. Дедушка в этом смысле был каким-то авторитетом, в Романовке пользовался огромным, настолько, что когда знаменитая чешская фирма «Батя» искала уполномоченного, знающего толк в обуви, то они обратились к дедушке, чтобы в его магазинчике при их совместной мастерской (а там четверо владели сапожной мастерской) был отдел «Бати». Дедушка поправил немножко состояние семьи тем, что стал представителем этой фирмы «Батя». И он научил отца тоже. Отец тоже замечательно рисовал, и он был бы замечательным архитектором, я думаю. Всю жизнь он рисовал дома, которые он не мог построить никогда.

Е.Г.: Такой бумажный архитектор.

Н.К.: Бумажный архитектор, да, но он все время продумывал планировку квартир, он думал, как можно было бы построить такую виллу, которой у него никогда не было возможности. Это была абсолютно бумажная архитектура, конечно. И он мечтал о том, чтобы стать архитектором, но дедушка не мог себе позволить: в Молдавии не было вуза, надо было ехать либо в Париж, либо в Бельгию, почему-то все ездили в Бельгию учиться, может, из-за языка французского, или в Италию, который был близок к молдавскому. Дедушка, конечно, он был довольно религиозный человек, он хорошо знал иврит и папу

научил. Но он был, что называется, не догматик, а совестливый, что называется, совестливый человек. И дедушка оставил его при себе, сказав: «У тебя две сестры, им надо помогать». Таким образом моя старшая тетка училась во французской гимназии, младшая не захотела учиться, она была такая совершенно жизнелюбивая и по характеру напоминала Нонну Мордюкову, только в еврейском варианте.

Знаете, удивительные бывают такие рифмы в национальных характерах. Скажем, есть такая Анна Маньяни в Италии. Необыкновенно жизнелюбивая, необыкновенно веселая, все умеющая делать руками, стряпающая так, как никто. И она очень рано вышла замуж за закройщика костюмов, вдруг — портные объединились с сапожниками, началась такая совершенно типичная история для небольшого местечка.

И эта папина линия, я бы сказал, такой средней зажиточности. Они не были богаты, но они уже не нуждались так, как это было в дедушкином детстве. Бабушка, кстати, была из этой семьи раввинской, она была более обеспечена, понимая, это был своего рода мезальянс. И бабушка мне однажды сказала, что «я влюбилась в твоего деда, хотя он совершенно непрaktичный человек был, но я влюбилась в него, потому что у него были очень добрые серые глаза и потому что был очень красивый голос, и вот я влюбилась в него», и мезальянс состоялся. Вот.

А по маминой линии те самые Раппопорты, которых я упоминал, это бабушкина линия, маминой мамы. А дедушка, фамилия его была, по-молдавски ее писали Эндельштейн, на самом деле Хендельштейн, то есть Гендельштейн по-русски, и, судя по фамилии, он был из рода купцов. Хендель — это купец, это явно были купцы, пришедшие из Польши. Известно, что их предки пришли из Польши, уж не знаю, какими торговыми путями. Так или иначе, он женился на бабушке. У них был магазинчик какой-то, не бог весть какой, но ткани они продавали, насколько я понимаю. И мама потом, которая стала портнихой, замечательно знала все ткани, даже на ощупь могла определить какие-то вещи.

Дедушка тоже был такой очень совестливый человек, и они жили в Болграде, а не в Кишиневе. И когда началась революция, то один из его приказчиков, как бабушка говорила, зараженный революцией, решил, что вот его эксплуататор. Напившись, поджег лавку. И дедушка, у него, видимо, случился инсульт, даже не столько от потери добра, сколько от измены приказчика, которому он доверял, считал, что он человек как бы из его круга, его семьи почти что. Потом приказчик пришел каяться, но дедушка уже был болен очень.

” Вот так были погромы, а революция почти всегда сопровождается погромами, и всегда евреи оказываются на пути, самой легкой жертвой.

Болгары спасли семью, спрятали у себя в самый разгул. И потом, пока они пытались отстроить тот дом (он до сих пор существует в Болграде, там теперь какой-то горсовет или что-то вроде этого, двухэтажный дом, на первом этаже был магазин, на втором жили хозяева). Они жили в болгарской семье, и для меня это тоже показательно. Когда я показался в Болгарии, мне мои друзья-болгары рассказали, как их король отказался выдавать фашистам евреев и спас их, фактически. Я им рассказал про историю моей бабушки. Они говорят: «Ты знаешь, почему? Нас гнобили турки-мусульмане, и мы научились противостоять гонениям, и мы всегда сочувствуем гонимым». Я не знаю, так ли это, можно ли там на весь народ распространяться, но во всяком случае, болгарская семья была, действительно, очень дружественной, и помогли бабушке потом, когда дедушка умер, а у нее осталось четверо детей. Моя мама была второй, был старший дядя Миша, потом мама Софья Михайловна, потом был брат и младшая сестренка, которая только родилась, ей было несколько месяцев. Третий брат пропал во время войны, мы ничего о нем не знаем, в первые дни войны он пропал. Он остался в Румынии, кстати, он жил в Румынии, поскольку он женился на женщине из Румынии и жил там. И что стало с ним потом, мы не знаем.

Е.Г.: Никаких следов?

Н.К.: Никаких следов. Попал ли он в Освенцим, был ли он мобилизован — мы ничего про него не знаем.

Пытались искать — не вышло, бабушка до последнего надеялась, что, может, он выжил, где-нибудь живет. Но он, конечно, нашел бы нас, если бы...

Но так или иначе, вот, эта семья, которая жила в Болграде... Бабушка обрела новую профессию, то есть первую профессию, как выяснилось, ее главную. Она знала хорошо лес, она очень любила в лесу гулять и знала лес, потому что дружила с лесником. И он ей объяснял, какие деревья здоровые, какие больные, какие надо срезать, они не рубили все подряд, а вырубали только больные деревья и оздоравлили лес. И бабушка стала таким консультантом по оздоровлению леса — совершенно не женская профессия, казалось бы, да? Но благодаря ей она смогла поставить на ноги всех четверых детей, помочь им. Мама моя с тринадцати лет начала обшивать невест, как тогда называлось, ее научили вышивать гладью, вышивать, там, ришелье, такая вышивка была, где вырезали и потом обметывали, и мама готовила это все приданое, помогала бабушке. И дядя Миша, старший, пошел работать, чтобы младшим детям дать образование, пошел приказчиком. Это было фактически...

Е.Г.: Это какие годы?

Н.К.: Это 20-е годы, до... Они даже одно время уехали из Бессарабии в город Галац в Румынии, пытались там каким-то образом натурализоваться. Были у бабушки какие-то родственники там, в Галаце, но не удалось им там прижиться, они вернулись. Они вернулись в Молдавию, попали в Романовку, и мама встретила папу. Есть фотография, где мама с папой, молодые совсем, перед моим рождением еще, идут по улице, веселые, красивые. И я думаю: боже мой, какая странная у нас жизнь, вот как-то представляем себе, что провинция, Молдавия, такая бедная, нищая — и вполне нормальные, европейски одетые люди, которые еще не подозревают, что через три года будет пакт Гитлера со Сталиным. И Молдавия, как и Прибалтика, отойдет к Советскому Союзу, и вся жизнь будет сломана, фактически идеологически сломана.



Мама и папа в Романовке. Ок. 1936

И папа унаследовал у дедушки кроме его умения рисовать и замечательно закраивать обувь еще очень большую отзывчивость. Он... И мама была очень добрым человеком. Надо отдать должное моим родителям, я бы сказал, они были социальные люди в самом точном смысле слова, они жили в обществе близких им людей, не занимаясь политикой, не уходя в высокие сферы, но помогая всем, кто рядом. Причем папа в этом смысле был сдержаннее и, я бы сказал, чуть более практичнее, он все умел делать руками и всем, кому надо, приходил на помощь.

” А мама была душа-человек, которая до последних дней (она дожила до девяноста трех лет) помогала соседям по лестничной площадке то с детьми посидеть, то обед сварить, то квартиру прибрать.

Просто без всяких денег, естественно, просто потому что надо помогать друг другу. Вот это какая-то была, если хотите, мораль семьи. А когда пришла советская власть, они радовались, они отказались уехать из Молдавии, ведь у всех было представление, что Советская Россия, или Советский Союз — это братство народов, то, что было главным лозунгом...



Мама. 1936

Е.Г.: Они поверили...

Н.К.: Да, и они верили в это, они верили. Тем более, что в Румынии уже начиналось сближение в фашистской Германией, они знали, что происходит в Германии. Причем надо еще сказать одну вещь любопытную. Папа служил, естественно, в кавалерии, как тогда служили в кавалерии: брали на год в румынскую армию, вместе с немецким колонистом, там были немецкие колонии. И спустя много лет Серафима Германовна Бирман, у которой я был в гостях, узнав, что я из Бессарабии, сказала: «Вы откуда?» Я сказал: «Из Кишинева» — «Да что вы! Вы рядом со мной, я из Белец, я в немецкой колонии под Бельцами родилась».

Е.Г.: Интересно.

О раннем детстве. Начало войны

Н.К.: Папа дружил с немецким колонистом, это был его лучший друг. Я, к сожалению, не помню его имени, мне кажется, то ли Хельмут, то ли Вольфганг, не помню. Какое-то типично немецкое имя, или Герман, что-то такое, нормальное имя. И когда я должен был родиться, этот Хельмут или Герман приехал к папе и говорит: «Слушай, я знаю ваши роддома здесь, это очень... неверно — это антисептично. Есть в Кишиневе немецкий роддом, я могу тебя устроить туда», — маму в смысле мою, для родов. И папа

говорит: «Ну, слушай, я как-то, мне неловко». Мама мне пересказывала, так вообще почти анекдотично, говорит, прежде всего... Да, у мамы была особенность, она ребенком попала в пожар, и у нее обгорела кожа на животе, и врачи очень опасались родов, потому что рубцы могли потом разойтись и могли быть осложнения. Это было главной заботой папы, когда я должен был родиться, поэтому возникла, папа рассказал при встрече случайно этому Хельмуту или Герману, и тот предложил: «Послушай меня, у нас очень хорошие врачи». Это к тому, что не только не было никакой вражды между ними, это была дружба настоящая.



С мамой. 10 мая 1938



И маму положили в немецкую клинику, и я родился в немецкой клинике. Когда я рассказываю это немцам, говорят: вот откуда у тебя немецкий язык, ты слышал...

Е.Г.: ...вы запрограммированы...

Н.К.: Да, ты слышал, еще не родившись, наверное, когда врачи обсуждали, как твоей маме помочь. И первые дни, действительно, я слышал немецкую речь, правда, с мамой они говорили по-русски. Вот. И так или иначе я родился в немецкой клинике на нынешней улице Гоголя в Кишиневе. Но к этому времени уже начинались тревоги, потому что началась эта страшная фашизация Румынии, началась пропаганда немецкой идентичности среди немцев-колонистов, и через два года почти все они уехали, когда возник этот пакт Гитлера со Сталиным, или Риббентропа с Молотовым, как его называли тогда. Всех их отозвали в фатерланд, и папа говорит, что они попрощались с этим другом в понимании того, что сейчас их делают врагами, не только в силу немецкой идеологии, но в силу того, что Молдавия уходит

к Советскому Союзу, который воспринимался тогда ведь как союзник Германии, в чем был ужас, отдельный ужас. И тем не менее и дедушка, и папа верили, что в Советском Союзе дружба народов. Когда им предлагали уехать из Бессарабии (в Латинскую Америку обычно уезжали, в Израиль — не было тогда Израиля, англичане не поощряли поездку на Ближний Восток из Европы), они отказались. Они остались.

Дальше, мне уже было два года, я почти ничего не помню из этого времени. Я помню две вещи, я помню свою — три вещи — коляску, у меня была коляска, привезенная дедушкой, подарок к моему, когда мне год исполнился, какая-то кабинетная коляска. Мама говорит «кабинетная», это тогда была самая...



«Кабинетная» коляска. Июнь 1938

Е.Г.: Что это значит?

Н.К.: Она была большая (есть на фотографии), и это было в этой Романовке, куда мы уезжали на лето, мы там жили с дедушкой, с бабушкой, и это было вообще невиданное богатство — городская коляска такая. Тут я совсем маленьким, этого я, как мне думается, может, не помню. Второе, это когда мне было два года, дедушка привез из Бухареста мне коня, такого деревянного, я коня помню в своей комнате, как я ее помню, угол, в котором были закругленные полки, и там были мои игрушки, а внизу стоял конь, это я почему-то помню. Я помню шоколадный торт на чьей-то свадьбе, который стоял на окне, я увидел такую огромную шоколадку, и для меня это было потрясение — увидеть такую шоколадку. Я потом рассказывал маме, она говорит: да, ты знаешь, это, скорее всего, была свадьба чьей-то двоюродной сестры, тебя водили, и ты, действительно, пытался эту шоколадку пальцем потрогать. Тебе сказали, что нельзя это трогать.



Подарок ко второму дню рождения. 1939

Пожалуй, единственное воспоминание довоенного времени и первое четкое воспоминание — это свист бомб, и мама, которая заворачивает меня в плед и тащит в подвал, это 22 июня 41-го года, когда Кишинев бомбили так же, как и Киев, в первую же ночь.

Я не помню дедушку, к сожалению. Бабушка жила еще потом долго, а дедушку не помню. Дедушку пришли и забрали ночью, в 40-м году, ничего не объяснив, сказали, что вот, торговец, классово чуждый элемент. И дедушка пропал. Мы потом только узнали, что он оказался в лагере в Ивделе под Свердловском, и папа даже пытался поехать туда и как-то его оттуда вытащить, как он сделал это по отношению к бабушке, что бабушку не арестовали, а сослали в Туркмению. В Туркмению, и папа устроился работать на железную дорогу проводником, что нас всех и спасло потом, как выяснилось. Доехал до Туркмении, смог выкрасть бабушку...

Е.Г.: Фантастика!

Н.К.: ...и спрятал ее в Самарканде. Я уж не знаю, каким образом там уговорил местного, подарил ему чего, написать, что она умерла, Малка Бороховна умерла, а родилась вместо нее Мальвина Борисовна. И ее правда называли Мальвиной соседи, Мальвина Борисовна, которая еще до войны, естественно, 41-й год, приехала в Самарканд и затерялась там в этом большом городе. А дедушка был где-то на Урале, папа надеялся туда доехать. Мы потом оказались на Урале, но дедушки уже не было. Он вернулся в Молдавию, и в это время началась война. Папа был в это время в поездке, поскольку мы считались семьей военнослужащего, потому что всех железнодорожников немедленно мобилизовали, естественно, то маму со мной, бабушку и мамину сестру в один из первых дней успели эвакуировать.



И вот первое воспоминание — это война, бомбы и вот этот плед, которым меня заворачивают.

Второе воспоминание — пожар на станции Раздельная. Я очень четко помню, что мы доехали до станции Раздельная и должны были повернуть на Одессу, чтобы потом плыть в Грузию на теплоходе. К тому моменту, пока мы приехали на Раздельную, немцы разбомбили ее, и продолжали бомбить, когда мы стояли там. Все вокруг горело. Этот пожар я помню, и это было потрясение для маленького, тогда мне было три года с небольшим, с половиной. Я помню этот пожар, я помню вопли женщин в этом вагоне, крики «Спасайся!», и я помню, что мы под поездом почему-то искали убежища, под этими... на путях.

А поскольку путь на Одессу был разбомблен, наш состав завернули на Кубань, и оказалось, к счастью, потому что первые поезда, которые шли до нас, достигли Одессы, но немцы потопили тот теплоход, на котором все плыли в Грузию, поэтому все погибли, кто плыл там, а нас эта бомбежка спасла, и мы доехали до Кубани. Я очень смутно помню ту станицу, где мы застряли на зиму. Помню только оконце, видимо, моя кровать стояла возле окна, и я помню оконце это и снег за окном. А потом немцы приблизились к Кубани, и нас дальше [эвакуировали].

Дальше отправляли в Махачкалу. Я помню эту толпу и крики мамы, мама кричит: «Мама, мама!» Оказывается, разрубили толпу, и бабушка с сестрой маминой остались по одну сторону, а мы с мамой по другую сторону шлагбаума. Мы уже как бы были на теплоходе, отправлялись через Каспийское море в Туркмению, а бабушка с мамой оказались, и мама упростила этих людей, чтобы не разлучали семью, и мою бабушку тоже пустили вместе с теткой, и он пустил. У нас уже не было места в трюме, а в трюме были боеприпасы, мы должны были плыть в Баку вместе с боеприпасами для зениток. А на палубе были все эвакуированные, и я помню плед, которым меня накрывали — вот какие-то странные вещи, и качку ужасную среди моря.



Из-за того что немцы разбомбили нефтяные баки в Баку, море горело, и нельзя было плыть в Баку. Поэтому повернули на Красноводск.

И мы оказались в той самой Туркмении, куда бабушку сослали (другую бабушку), из Красноводска пересекли всю Туркмению, мы попали в Ташкент.

Все наше имущество было один мешок, в котором все, что попало [на] глаза при эвакуации, бросали мою одежду, мамино платье, бабушкину кофточку. Почему-то мама кроме документов взяла еще альбом фотографий, вот почему сохранились довоенные фотографии. Совершенно бессознательно, потому что лежало в одной тумбочке с документами, бросила в этот мешок. С этим мешком мы и странствовали все это время. Но самое поразительное, что мама выменивала какие-то вещи, например, ночную рубашку, у нее была какая-то одна ночная рубашка, которую она в Краснодаре при нашей вторичной эвакуации выменяла на картошку в городе. Она пошла в город менять, и началась воздушная тревога. Это тоже я помню. Я помню, как мы стояли на станции, и над нами был воздушный бой, причем я уже узнавал — мне было четыре года — я уже узнавал по звуку моторов, где наш самолет, где немецкий, что у немцев у-у (*изображает голосом*), вот такие были звуки, а наши ровно.

”

И я видел, как «ястребок» гоняется за бомбардировщиком, как он разворачивается, с красными звездами — между прочим, они маскировали, немцы, свои бомбардировщики, хотя бы внешне, — и как летит бомба на станцию, и вся толпа так — вух! — назад откачнулась.

Вот этот момент я тоже очень хорошо помню. А мама в городе, ее загнали в подвал.

Е.Г.: А вам некуда было спрятаться?

Н.К.: А нам некуда было, мы стояли прямо на улице, и там огромная толпа была. И когда мама пришла, она ужасно волновалась, потому что она знала, что где-то за станцией горит. Увидела, что все мы на месте и сказала: «Вот женщина, у которой я выменяла картошку, она дала мне еще, узнав, что у меня сын, коробочку мармелада, желейного мармелада, который с довоенных времен лежит, и она пожалела и дала тебе коробочку мармелада». Я помню эти мармеладины в виде таких ягод клубники, и с тех пор очень люблю мармелад.



С мамой и папиной сестрой Ривой в Кишиневе. 1939

Еще одно детское впечатление. Я не помню дороги до Средней Азии, но я помню толпу на станции Ташкента. Там распределяли, нужно было по очереди подходить к распределительному пункту, и по

разным городам Узбекистана распределяли эвакуированных. Одна пришла женщина и сказала, что дети с родителями могут пойти в летний кинотеатр и смотреть кино. Знаете эту историю?

Е.Г.: Расскажите.

Н.К.: Это первый фильм, который я помню, хотя мама утверждала, что еще в Румынии я смотрел «Микки Мауса» — ничего не помню, абсолютно, из этого. А тут говорят, показывают фильм для детей, сказку, да еще цветную. И вот меня мама привела в этот кинотеатр, бабушка осталась с теткой возле этого мешочка небольшого. Меня поставили на скамейку, и я увидел «Багдадский вор» Майкла Пауэлла, которого я тогда не знал, что это Майкл Пауэлл.



Это было настоящее, это было потрясение, это было все, это была надежда, это было вдохновение, радость, сказка, все, что может быть необходимым ребенку в этом возрасте.

Мама утверждает, что я летел вместе с героем, так раскинув руки, стоя на этой скамейке, как там тот на ковре летал.

Нас привезли в город Андижан. И в городе Андижане началась жизнь более-менее спокойная уже, без налетов, без опасений нашествия немецкого, но с неопределенностью — где папа, мы ничего про отца не знали, а отец нас искал. Надо сказать, что в Советском Союзе было хорошо организовано это (все ругают прописку, а прописка помогала находить людей), и какой-то был эвакуационный пункт или какое-то было бюро в Москве, через которое можно было находить, где кто находится, без компьютеров, безо всего, только с картотеками. В общем, каким-то образом папа нас разыскал, [узнал,] что мы не погибли. Он ничего не знал: остались мы в Молдавии, не остались.



С мамой. 28 июля 1939

Е.Г.: А он где был в это время?

Н.К.: Он был в это время... Их поезд попал, как выяснилось потом, под бомбежку немецкую, его выбросило, он был контужен, у него ногу повредило, и он оказался в госпитале, а оттуда оказался на Урале, в городе Копейск Челябинской области. И его списали из госпиталя уже на трудфронт так называемый, он стал вдруг специалистом по металлу. Он вообще человек был восприимчивый очень и вдруг стал разбираться не только во всех типах металла, там варили сталь для «Т-34» как раз, по-моему. Он знал, какие подсадки нужно, каким-то образом, когда он был в госпитале, не знаю, или сразу после того, попавши в лабораторию, он стал специалистом по сталям, и работал, его не хотели отпускать. В 46-м году, когда он уже попросился отпустить его с семьей в Молдавию, его не хотели отпускать с завода и говорили: «Илья Михайлович (его сделали там, как водится, Ихиль Менъевич — это было слишком сложно, и его Ильей Михайловичем сделали), Илья Михайлович, оставайся, это твое призвание». *(Усмехается)*. Но отец надеялся, что на родине он как-то построит, наконец, дом для семьи, и мы уехали туда.

Жизнь во время войны

Но вот папа нас нашел, выписал, надо было ведь пропуск получать для приезда из Средней Азии на Урал, да еще в закрытый город Копейск. Это тоже я помню, как мы приехали на Урал, папу, как я в первый раз увидел папу...

Е.Г.: ...А как вы жили в эти годы, помните, военные?

Н.К.: Военные, да. Я должен сказать, что мама работала в госпитале, и, как водится, она всю отдавала себя, конечно, пока работала, больным. А нам дали узбеки такую пристройку, в которой только мы с мамой могли поместиться, а в другой пристройке, в другом дворе жили бабушка с теткой, потому что здесь негде было поставить даже топчан. И тетушка пошла в бухгалтеря, бабушка работала на какой-то, не знаю, фабрике хлопковой, что-то там хлопковое было, а мама в госпитале санитаркой. Все научилась делать: и перевязки, уколы. И нравственность этого поколения в том, что она не позволяла себе не то, что взять какое-нибудь лекарство... Когда я заболел стафилококковой ангиной, у меня была очень сильная ангина, она пошла к главному врачу и попросила у него стрептоцидовые таблетки, чтобы меня спасти. И эти таблетки меня спасли, действительно, еще никаких антибиотиков не было, естественно.

Я помню очень хорошо затируху, которую мама приносила в таких судках, это был суп, мука, фактически, разведенная. И самое сладкое, что у нас было тогда, я в детский сад бежал, была такая хлопковая фабрика, где давили масло из семян хлопка, прямо напротив нашего детского садика. Я помню, как мы прибежали к забору, где были щели, и глядели туда. А работницы, там работавшие, знали, что дети ждут, и понимали, что детям нужен жмых, который спрессовывали, он шел на фронт обычно, для солдат. Но крошки и обломки, когда что-то ломалось и не упаковывалось, они, как правило, носили либо своим детям, либо давали нам.



Нам несли, давали кусочки этого жмыха, лом, и этот жмых был такой вкусный! Это было такое счастье! Больше, чем все шоколадки потом.

Я не могу сказать, что я чувствовал голод, я не помню голода, но я помню радость от еды. Вот это действительно было вкусно все есть. Я помню, когда узбеки приносили нам каймак, это было совершенно такое — жестом, на Первое мая, на Седьмое ноября, то, что мы не могли себе купить, позволить себе. Каймак — это такая сметана, такая сбитая, очень вкусная, сладкая. Или, например, разрешали нам идти в хозяйский двор, собирать тут, осыпалась шелковица. И, как правило, мама говорила: «Не ходи туда, там хозяйское», — и мы слушались, дети, обычно старались не ходить. Вот тут нам разрешали прийти, собрать то, что осыпалось, это тоже было совершенно потрясение.

Но самое удивительное, что я детский сад почти не помню. Я помню только очень много узбекских детей, вот я помню. Что там было, как там было, я не помню.



С троюродным братом Ариком Гитником (слева)

А вот на Урале помню очень хорошо. Я помню, как мы ходили в госпиталя, выступали перед ранеными. Я помню, как у нас были такие уроки рисования для солдат. Мы рисовали всякие военные сцены, где наши зенитки сбивают фашистские самолеты, или, наоборот, наши танкисты, значит, расстреливают немецкие... И мы всё это рисовали. И для нас само понятие фашист и немец были идентичны тогда, хотя официально говорили, что есть две Германии, но для нас это значило смерть — «немец». Много лет уже спустя я моим немецким друзьям сказал (у меня очень много друзей в Германии), я им рассказал об этом, я сказал, что для нас значило слово «немец» в нашем детстве. И мне Эрика Грегор, она жена моего друга Ульриха Грегора и сама мой друг, очень давний, она сказала: «Ты знаешь, нам ведь тоже внушали, что евреи и русские — они все враги немцев. Как мы это пережили? И неужели мы допустим, что это снова вернется? Я, например, для себя знаю, — говорила Эрика, — я сделаю все для того, чтобы это не вернулось». Но для нас «немец», конечно, был знак смерти, враг, которого надо уничтожить.

Самое забавное еще, что я видел «Александра Невского» тогда, но воспринимал его как такую современную картину, потому что немцы, естественно, и нам было соответственно шесть лет. Никто не хотел быть немцем-рыцарем, сражались свои со своими, было очень смешно, но тем не менее никто не хотел быть немцем, пока не нашелся какой-то один, который взял старое ведро, просто ради того, чтобы бить по этому ведру, поймал какого-то мальчонку, говорил: «Ты будешь немец» — «Не буду, не буду!» — «Будешь!» Надел на него это, и стали бить по этому ведру, бедный мальчик там орал... Вот этот момент жестокости детской я тоже запомнил, как я ужаснулся этому. Бессознательно, это потом только пришло осознание, что делает война с детскими душами.

Я должен сказать, для меня потом было потрясением «Иваново детство» Тарковского и осознание, что наступил новый этап нашей кинематографии, именно потому, что я очень хорошо помнил этот ужас от этого крика мальчика, которого объявили врагом и по этому ведру колотили палками.

” Я думаю, что все мое поколение должно было из себя изживать эту детскую травму, поэтому так страшна та ненависть, которую сегодня продуцируют все СМИ.

Это может обернуться против страны, против людей и против детей, это просто, это... преступно. Во время войны это казалось естественным, потом пришлось изживать.

День Победы

И в 46-м году... Да, я перескочил важную деталь — это День Победы. Этот день я помню очень хорошо. Я помню, что объявили утром, что мы все пойдем на сквер, это был такой в центре Копейска сквер, площадь, где были громкоговорители. Масса взрослых. Все сказали: «Победа! Победа!» — все уже знали. И вот я помню объявление голосом Левитана, видимо, был парад Победы... А, нет, парад был позже, он же был в июне, а это было 9 мая, или восьмое, может быть. Я помню полную площадь людей, и плачущих взрослых, дети прыгают, радуются, а взрослые плачут. Это тоже помню, это ощущение, и праздник потом в детском саду, я был в старшей группе уже.

” Нам принесли блины, обильно политые маслом растопленным, кружевные, огромные. Мы складывали эти блины и как мы их ели! И все кричали: «Победа! Победа!». И у меня блины с победой навсегда сплелись.

Мы, конечно, не знали, что блины-то поминальные, для нас это был солнечный символ такой, если говорить языческими [понятиями], но на самом деле это поминальная еда, и я этот день победы и плачущих взрослых вспомнил, когда мы однажды разговаривали с нашими ребятами по поводу того, кто что помнит про этот день. И оказалось, что трое помнят слезы взрослых, не радость, а слезы, трое из шестерых.

Е.Г.: Это что было — слезы радости или слезы о потерях?

Н.К.: Это все вместе, все вместе. Это трудно объяснить. Вы знаете, слезы ведь, они многозначны, они не могут быть однозначно интерпретированы. Это и радость, и горе, и то, что дожили, и то, что о тех, кто не дожил, и все, что претерпели, все вместе, да. Это освобождение, одновременно с преклонением перед теми, кого уже нет. Я думаю, что такие вещи, они не проходят зря.

Почему я говорю об этом дне? Вы знаете, все попытки потом навязать моему поколению вражду к другим странам, людям, народам, в общем-то, были безуспешны.

” Я абсолютно уверен, что холодная война была проиграна не потому, что Америка там надавила на нас, не поэтому. А потому что наше поколение прошло опыт настоящей войны, и холодная война разыгрывалась там, на верхних этажах.

А здесь этого не было. Нам сколько угодно могли внушать, что американские империалисты, все говорили

— это правительство, но никогда не было вражды к народам, к американскому народу, тем более к европейским народам, этого не было. Опять, возвращаясь в современность, почему меня так пугает сегодняшнее. Опыта этого нет у молодежи, который был у нас, и им внушают, что другие народы виноваты, другие культуры виноваты, если может быть слово «культура», да? Нам было такое противоядие, может, такая прививка, прививка этой праведной победы в войне.

Возвращение в Молдавию

Ну а то, что было в Молдавии потом, когда мы вернулись... Папа отчасти осуществил... он не стал архитектором, он работал, сначала его взяли в какую-то контору, я даже не знаю, при строительстве потом на заводе железобетонных конструкций, он стал диспетчером. У него это чувство строителя, видимо, было в генах. Нам пришлось снять какую-то комнату, кстати, совсем близко от того дома, где я родился, рядом с улицей Гоголя, на улице Жуковского. Это тоже — присутствие русской культуры в Бессарабии было всегда. И папа получил право с мамой и со своим сослуживцем взять коробку так называемую. Коробка — это на самом деле были две стены неполные. И кирпичом других раздолбанных зданий выкладывать остальные стены и построить себе избушку, что называется, на две семьи. Ее разделили пополам, получилось у каждого по две с половиной комнаты. Одну большую комнату пополам разделили, вернее, и еще была одна спальня, и еще веранда.

Е.Г.: То есть избушка вся для вашей семьи?

Н.К.: Да, да-да, это для семьи, да, и для той семьи тоже, Лифшины были семья, папины сослуживцы. Я очень тоже помню, как мама с папой целое лето, и мы тоже таскали, детишки, насколько могли, таскали эти кирпичи, брали в развалинах уже полных и таскали сюда более-менее полные кирпичи и более-менее такие... треснутые. Но, во всяком случае, папа с дядей, как... Лифшина забыл уже, как зовут его, в общем, они построили этот дом.

Е.Г.: Вас уже двое было, брат?..

Н.К.: Нет, брат еще не родился, он потом родился, это был 46-й год, а брат в 47-м родился, когда у нас появился кров.

Единственное, что они не делали своими руками, они сделали печку — пригласили печника, и кровлю, для этого нужен был, естественно, мастер. Вот построили дом на улице Теобашевской, в нижней части города, которая считалась такой, простонародной, но там давали эти коробки, но недалеко от того дома, где Пушкин жил во времена оны в своей ссылке кишиневской.

Поездка в Черновцы

И когда мы уже обрели свой кров, родился мой брат. Я уже пошел в школу в Копейске, в первый класс, а в Кишиневе пошел во второй, третий, четвертый, была хорошая железнодорожная школа, лучшая, как считалось, в городе, недалеко от нашего дома, и все стало у нас как бы нормально. Все, кто выжил в войне, — вся мамина родня погибла, их не эвакуировали, они все погибли во время оккупации от немцев, да и прямо там были расстреляны. С папиной стороны тоже часть погибла, часть рассеялась, но так или иначе в этих развалинах началась новая жизнь. И вот следующий, что называется удар... Да, я пропустил еще вещь.

Как ни странно, тоже играет свою роль: тогда мне уже исполнилось одиннадцать лет, даже десять с половиной, бабушка поехала к старшему сыну Мише, у которого родился сын в это время, в город Черновцы. И мама мне доверила одному поехать в Черновцы. Меня посадили утром в поезд, к вечеру меня встретили в Черновцах. Я один ехал со взрослыми, мне доверили. Я помню свой самостоятельный первый приезд в Черновцы, который был австро-венгерским городом, где была резиденция Франца-Иосифа. Город сохранил — он не был разрушен, — он сохранил еще обаяние довоенной Европы и той

Австро-Венгерской империи, которая была общежитием народов, и все, что угодно, в ней было — и вражда, и блеск, и потрясающий гуманизм, и рядом с этим коррупция чудовищная, всё вместе. Я попал вдруг в Австро-Венгрию из Советского Союза. Как-то странным образом Черновцы не только архитектуру сохранили, они сохранили уклад тех людей, которые пережили оккупацию, и тех, которые вернулись после...

Дядя Миша получил после войны (он пришел с фронта раненый очень, он очень скоро умер от ран), но он получил там направление работы, на работу. И с тетей Раей, своей женой, и Мишка родился, Павлик маленький родился, и меня отправили к маленькому Павлику и к бабушке, бабушка поехала воспитывать очередного внука, потому что бабушка была на подхвате — все родители работали, естественно. И меня водили по абсолютно другой реальности.

” **Меня повели на улицу Кобылянской, которая была пешеходной, где стояли столики на улице — кафе на улицах в Советском Союзе отсутствовали, а почему-то там они были.**

Там еще делали те пирожные, которые делали придворные дворцу Франца Иосифа, там была летняя резиденция, сохранились кондитерские, сохранились эти мастера, которые умели печь эти пирожные. И я помню свои первые впечатления — это было ошеломление. Дело было не в благосостоянии — в другом укладе, в другом тоне, люди обращались друг к другу почему-то «мадам», я очень хорошо помню, как вдруг к моей тете Рае обратились «мадам», это мне казалось странным. Там тон был вежливый, и как ни удивительно, на детское восприятие такие вещи очень действуют.

Я знаю две очень близкие и очень непохожие манеры обращения. Потом, когда мы оказались в Сибири (я еще об этом скажу), мы столкнулись с таким сельским восприятием, я не помню, естественно, кубанской деревни, где мы жили, а тут были сосланные кулаки. Но они были сосланы из российских деревень, и там было другое, там было запанибратство такое непосредственное, но по-своему сердечное. И с одной стороны, такое — тебя тут же могли «облаять», и могли тут же простить и приласкать. И такая простонародная открытость была сродни, как ни удивительно, той вежливости, с которой я столкнулся в городе Черновцы, немножко церемонной, немножко старомодной, очень доброжелательной, может быть, не всегда по сути, но по форме — точно. Это — и то, и другое — было абсолютно приемлемо для человеческого общения, неприемлемо было хамство, которое было между этим. То пренебрежение к тебе, с которым ты сталкивался на самых разных этажах. И я думаю, это еще одна беда, беда того социального уклада, который можно назвать простым русским словом — невоспитанностью.

То, что упразднили воспитание, поставив как бы образование над воспитанием — это, действительно, надо было уничтожить безграмотность, все понятно, ликбез — это важно, но кроме ликбеза надо было еще и учить кухарку управлять государством, а не просто доверять ей управлять. Вот этого не было. Там, где везло, там были люди, которые выполняли роль классной дамы, то, что у нас называлось завуч, это не было классной дамой. То, что классный руководитель, это тоже. Когда был человек, это была классная дама или классный господин, не знаю, как его назвать, сударь. Но так или иначе, упустили воспитание — очень важный момент, какой упускают до сих пор. Сейчас идет разговор о восстановлении только образования настоящего, которое тоже утеряно. Но и воспитание продолжает оставаться сугубо актуальным — воспитание народа. Это почему я вспомнил про Черновцы: это дало вдруг такую альтернативу обращению с людьми, и друг с другом людей.

Е.Г.: Вам там понравилось.

Н.К.: Мне там понравилось. Мне там не просто понравилось, меня там впервые назвали на «вы», вот странно, такие вещи вспоминаются, хоть и засмешило. Но мне объяснили: а почему же, чужой человек должен к тебе обратиться на «вы». Я тогда впервые задумался о том, что «вы» — это не только дядя. Но так или иначе, это было досибирское впечатление, очень важное, которое осталось навсегда.

Ссылка в Сибирь

И вот в ночь на 6 июля 49-го года я проснулся оттого, что мама меня трясет за плечо, со слезами. Когда я открыл глаза, продрал с трудом и увидел солдата. Первая моя фраза была: «Мама, опять война?» Она говорит: «Нет, сынок, мы уезжаем опять». Это были те самые знаменитые ссылки из новых республик — прибалтийских, Западной Украины, Западной Белоруссии и Бессарабии, которые не пережили 37-го года, но пережили 49-й год. Не было таких расстрелов, какие были тогда на Руси и вообще в Советском Союзе, но были эти сотни тысяч людей, были сосланы без всякой причины на то. Нам потом объяснили, что сосланы как семья бывшего торговца. Это мой дед-то торговец, который своими трудами торговал, и своего сына, семья бывшего торговца. Кое-что объяснилось спустя много лет, когда мы уже вернулись туда и папа пошел просить обратно то, что у нас отобрали, хотя бы дом. Ему сказали: даже не думайте об этом, скажите спасибо, что вас вернули сюда, могли и не разрешать вернуться. Потом выяснилось, что в этой квартире, не только нашей, но и соседней, они их как бы объединили, живет семья сотрудника спецорганов. Это была форма еще дешевой колонизации, если можно так сказать.

Е.Г.: То есть под них освобождали.

Н.К.: Под них освобождали. Нужно было привезти свои кадры, освобождали жилплощадь тем, кто придет.

Потрясение той ночи до сих пор как-то внутри живет, но я должен сказать, что оно живет не страхом уже, а окаменелостью такой, остатками окаменелости.

” Нам повезло, у нас был замечательный лейтенантик, который говорил маме: берите, берите это, берите теплые вещи...

Е.Г.: ...Вас так в одну ночь?

Н.К.: В одну ночь, всех, абсолютно, ночью. Утром пригнали грузовик, грузовик на две семьи, разрешали брать, что унесешь. Нам повезло, потому что он нас заставлял все взять, все, что можно было, и мы поэтому с несколькими тюками ехали. В других семьях было иначе, потому что были и другие люди, которые потом пользовались тем, что бросили. Нас повезли на вокзал, везли через весь город, никто не спал, естественно. Я помню, я точно знаю, что такое аутодафе в средние века в Испании, то, что ощущение, во-первых, позора: ты не понимаешь, за что?

” Может, ты, правда, провинился, может, папа в чем-то виноват или мама? Чем мы виноваты? Но нас везут через строй людей, стоящих на тротуарах, и ревущих, плачущих, никто не орал, никто не обвинял, но все были на улице.

Нас привезли на перрон, задние платформы, и стали грузить в теплушки. Теплушки были оборудованы нарами, и по несколько семей запихивали и везли очень долго, ничего не объясняя. Лейтенантик наш говорил: «Ничего не могу сказать, ничего не знаю, вы только не беспокойтесь, вас поселят, все будет нормально, не беспокойтесь, берите, берите, все понадобится». А по тому, что он говорил «берите теплые вещи», было понятно, что в Сибирь. Вот и все, что мы знали. Этот путь, это больше двух недель, по-моему, длилось, до Кузбасса, я помню только этими странными... духотой в самом вагоне, разрешали только оставлять щелку, эти маленькие окошечки.

Е.Г.: Много вас там было?

Н.К.: Много. Много, было, по-моему, по шесть семей или восемь семейств в одной теплушке и еще вещи. Все на вещах так спали, не было, конечно, там никаких постелей, ничего, как могли, приспособили.

Помню, как выгоняли всех в поле и говорили: «Мужчины налево, женщины направо от поезда, оправиться». Это я помню очень хорошо эти крики и попытки понять, что с нами будет.

Когда нас привезли — привезли в Кузбасс, на станцию Белово. Потом везли на узкоколейке до Гурьевска, а потом от Гурьевска везли еще в тайгу, поселок Июнька. Этот поселок был на месте еще старых, дореволюционных приисков золотых, которые давно были исчерпаны. Их решили возобновить, что, может, не все золото исчерпали, и ссыльные переселенцы должны были копать золото. Я помню, один из комендантских прихвостней, там были местные, которые работали в комендатуре, говорил: «У, жидовские морды, любите золото носить. Теперь мы носить будем, а вы нам будете добывать его». А золота не было. Но это я перескакиваю.

Когда нас привезли туда, я помню мизансцену. Я, конечно, не помню слов, но я помню мизансцену: толпа, лежат вещи, комендант приехал со стеклом на «виллисе» трофейном... не трофейном, а оставшимся от ленд-лиза. В общем, приехал на «виллисе». Женщины с детьми сели на такие бревна, такой лесоповал, бревна лежали, мужики все стояли вокруг. Я помню эту мизансцену, я помню момент, когда он читает что-то, а впереди сидела пожилая женщина, очень красивая, в такой кружевной накидке, и она начинает вдруг истерически смеяться. Вот этот смех я запомнил. Потом мама мне рассказала, что там случилось. Оказывается, он читал постановление Верховного Совета о ссылке нетрудовых элементов — это папа-то, который работал с детства, и мама, которая с тринадцати лет работала, — нетрудовых элементов в Сибирь, сосланы навечно. И все плакали, естественно, да. А эта женщина начала смеяться. Как выяснилось потом, это была баронесса Терзи, вдова коменданта Бендер царского времени, которая жила все эти годы в своем домике, но теперь сподобилась ссылке.

И после того, как уехал комендант, она подошла к женщинам и сказала: «А чего вы плачете? Если бы он сказал „пожизненно“, я бы плакала вместе с вами, а он сказал „навечно“, они думают, что они хозяйева вечности. Вот увидите, скоро это кончится». Мы в тот момент не знали, что «вечности» будет шесть лет, но все равно, это было очень страшно.

И тут появились ссыльные кулаки, которые там жили с 30-х годов, которые уже обжили все это, и они нас спасли, фактически. Давали на каждую семью по два стойла в пустых конюшнях и в коровниках. Ломали эти бревна, которые были между двумя стойлами, два стойла объединяли в одно, вешали занавесочки — это семья. И кого могли, кто совсем с грудными детьми, брату моему тогда было два года, даже двух не было еще, полтора года, они давали разрешение на получение молока. Был клуб, который... Да, был движок, который давал электричество на парочку часов в сутки, а все остальное время при лучине. Я очень хорошо помню лучину и как пряли эти крестьянские дети, потомки детей сосланных, они тогда замечательно там устро... ну, замечательно, насколько там возможно было, но они обжили все это. У них было более-менее крепкое хозяйство, которое все погибло в войну, конечно, мужики почти все погибли. Как они пели протяжные песни и пряли при этих лучинах. Вот эту зиму.

А я должен был идти в пятый класс, а там была только четырехлетка, начальная школа. И нам сказали, что есть соседний поселок Барит, восемь километров от Июньки, там средняя школа, там есть интернат, и поскольку нас не лишили всех других прав, кроме права выезжать отсюда, то есть право на образование, и можно детей сдать туда, в интернат.

И папа меня 31 августа повел пешком. Меня разбудили ночью почти что, мама приготовила какую-то кашку там на примусе, все на примусах жили, кашку сварила, папа меня повел в Барит. И тут первый раз прошло то окаменение, которое началось в ночь на 6 июля 49-го года. Значит, это был июль и август, два месяца, у меня не было ощущения даже тактильного, полное ощущение окаменения внутри.

Я шел с папой, еще было темно, а в Сибири замечательные травы, высокие такие. Мы шли мимо горы Копны, я даже помню, как гора Копна называлась, такая сопка предгорья Алтая, и я вдруг увидел, как за этой травой как будто начинается пожар. Я говорю: «Папа, пожар!». Папа говорит: «Это не пожар». И мы остановились, и я увидел, как за этой травой начинает формироваться что-то вообще непонятное такое, такое огненное. И капельки росы, которая была на траве, прямо передо мной была, а я тогда еще не был близорук, она стала испаряться.

”

И это что-то непонятное, это огненное стало формироваться в шар, и из-за травы вышло солнце. Я первый раз увидел рассвет.

Я точно знаю, что это момент был спасения, я не только оттаял в этот момент. У меня было ощущение почти какого-то такого месседжа, как сейчас говорят. Какой-то луч надежды в прямом смысле слова. Я понял первобытных людей, вот этих, которые обожествляли солнце, это было ощущение чуда, это было ощущение закономерности того, что... Вот, может быть, с этого момента началось наше освобождение, которое так шаг за шагом шло.

Но это было чудо, которое подготовило меня к тому, что дальше произошло. Потому что, когда я пришел в школу, оказалось, там замечательный коллектив. У нас был дивный директор, я не помню его имени, к сожалению.



Гурьевск. Сопки Ала-тау

Е.Г.: Из ссыльных?

Н.К.: Что?

Е.Г.: Из ссыльных?

Н.К.: Нет, нет, из местных.

Е.Г.: Местных?

Н.К.: Нет, там были ссыльные и местные. Некоторым ссыльным разрешили переехать в Барит, тем, кто были педагоги, они нуждались в педагогах. Моя учительница музыки, Берта Марковна, которая была певицей оперной и дочкой знаменитого профессора Кишиневской консерватории, которая владела фортепиано, она преподавала нам фортепиано. Потом в Гурьевске уже были ссыльные учителя. Здесь у нас был, она была одной из немногих, кто преподавал в нашей, в пятом, шестом классе. В старших классах был кто-то из ссыльных математиков, преподавал. Но местный директор был замечательный. Мало того, что он не делал никакой разницы между ссыльными и... Там все были ссыльными, просто разных времен: царских времен, 20-х годов, 30-х годов, 40-х годов. То есть оказывается, что Сибирь вся состоит наполовину, если не больше, из ссыльных.

И потом Вася Шукшин рассказал про Алтай, что Алтай был тем местом, где селили отпущенных с каторги, говорит: «Ты послушай наши песни, это же вчерашние каторжане поют». Там у них была песня «Горит, горит село родное, горит вся родина моя». Это я до сих пор не могу забыть, как ее пели в Сростках, когда мы были у Васи в гостях. Я потом рассказал Валерию Гаврилину, композитору замечательному, про эту песню. Он говорит: «Такой песни нет». Я говорю: «Валера, как тебе не стыдно, я тебе врать не буду». А он говорит: «А я ее не знаю». — «Может, ты не знаешь, походи к Шукшину и спроси».

Так вот, все были ссыльные, но он как-то создал атмосферу там — все свои. Мало того, он старался использовать этих ссыльных для того, чтобы они принесли культуру туда. Например, он попросил Берту Марковну, чтобы она научила нас сидеть за столом, как держать локти, как держать вилку с ножом, каким образом. Она нас учила, это то самое воспитание, он понимал необходимость этого. И поскольку все ели за огромными столами, она ходила такая: «Как ты сидишь! Выпрями спину, это что такое!», «Локти не клади на стол, рядом с тобой другие сидят». И это было тоже абсолютно необходимо. Меня он почему-то прозвал «Галчонок». И все время говорил: «Галчонок, как дела?»

А поскольку я играл на фортепиано, надо сказать, не очень прилежно, мне все время хотелось всё со старшими, а надо было — в коридоре стояло фортепиано — разучивать этюды Черни, скучно. Но тем не менее была девочка, замечательная девочка Люся Феногентова, которая, по-моему, была первая любовь, и Люся занималась очень хорошо, и в четыре руки. И Берта Марковна заметила это и посадила меня играть с ней в четыре руки. Я стал заниматься фортепиано, очень прилежно. Поскольку девочка была голубоглазая, а мама моя говорит, что я в детском саду всех голубоглазых девочек таскал за косы, и она как-то сказала, что «у тебя будет голубоглазая жена». Когда я представил Алю, мою жену покойную, она говорит: «Я так и знала, голубоглазая». Но кто знает, какие где там генотипы, фенотипы работают.



Гурьевск. Общий вид с сопки

Но тем не менее мы с Люсей играли сонатину Бетховена, и в день Советской Армии, 23 февраля 50-го года. И в этот день, по-моему, в этот день нам объявили, что кто может устроиться в Гурьевске, может уехать из Июньки. Вы знаете, что это было?

” Я думаю, что ощущение свободы на самом деле не однократное, оно многократное ощущение, оно каждый раз расширяется, ты понимаешь, что свобода — это очень многообразное явление.

Но этот момент разрешения уехать из тайги в город, где будет электричество, где можно будет пойти в библиотеку, это ощущение непередаваемо. И рядом с этим солнцем встающим, сонатиной Бетховена и объявлением о том, что можно переехать в Гурьевск, это два таких первых шага в свободу.

Переезд в Гурьевск

Мы приехали в Гурьевск. Папа устроился в сапожную мастерскую, тут же раскритиковал их колодки, говорит: «Ну что же у вас колодки-то такие? Давайте мы настоящие колодки сделаем. Это же не на народ-то рассчитано, на коз, говорит он, козы такие могут носить только ботинки, но не люди». В общем, он смог как-то завоевать сразу авторитет там. И мама, поскольку брат был маленький, устроилась тоже надомницей. Она шила, шила какие-то передники, халаты, их давали, и она, помню, склоненная все время

за этой машиной, которую она, фактически, ей привезли, нам привезли из Молдавии, на второй год привезли машину, и мама смогла тоже работать и как-то поддерживать нас.



Наум Клейман возле своего бывшего дома в Гурьевске с одноклассниками В. Мироновым и В. Протопоповым. 1 мая 1980

Е.Г.: Жизнь налаживалась.

Н.К.: Да, она стала налаживаться. Но тут я должен сказать, я попал в школу — светлая память моим учителям, которых уже нет на этом свете. Вот опять, был замечательный директор Голиков. Он вернулся с фронта на одной ноге, шел с протезом. Абсолютной справедливости человек! Вы знаете, бывает такое — справедливость от бога, да? Вот он, это его существо было. Он ненавидел несправедливость, в любой форме. Неважно, охранник ли обидит какого-нибудь школьника или когда нам не давали медали, ссыльным, а это уже десятый класс. Мы пришли в шестой класс, десятый класс, в котором один наш гэбэшник был, который был в школе физкультурник, заявил, что они враги народа, им нельзя давать медали. Директор попытался сначала решить это все на уровне школы, сказал: «Но они же хорошо учились, мы же даем за учебу», но тот, видимо, как-то его шантажировал, не знаю, и тогда наш Голиков поехал в Кемерово в облоно. И привез бумагу, что «сын за отца не отвечает, сказал товарищ Сталин», и поэтому мальчикам и девочкам из ссыльных переселенцев, которые хорошо учились, можно давать медали.



Гурьевск. С одноклассниками Борей Ивановым и Эдиком Иголинским. 1955

Е.Г.: Ужас.

Н.К.: Просто на таких людях, собственно, страна и держалась, мне кажется, потому что могло быть все, что угодно. Но поскольку всегда были такие люди, вот человек за справедливость. И он брал в школу учителей ссыльных, другие школы не все брали, а он брал. И у нас, например, мы этого не знали сначала, мы потом об этом узнали, немецкий язык преподавал Михаил Тимофеевич Соколов, который не умел ставить двойки. Он смотрел на нас, когда мы не готовились, говорил *(тихо)*: «Садись». Но он не только не ставил двойки, он с нами говорил по-немецки. И мы устраивали все время путешествия по Германии, он нам рассказывал, что такое Дрезден, что такое Мюнхен, что такое страна Саксония, какие там были короли, какие там были события. Он нам, фактически, писал пейзажи, у него были замечательные пейзажи. Выяснилось, что он был студентом Петербургской академии художеств, он был по обмену в Берлине с немецкой Академией художеств, там был старый обмен, еще со времен дореволюционных. И в 33-м году, когда фашисты пришли к власти, он вернулся в Советский Союз и тут же был сослан, естественно, сначала на Урал, как бывший на Западе, а потом что-то там сказанул — его дальше, слава богу, не в лагерь. И у нас оказался такой учитель немецкого языка. Весь класс понимал по-немецки, не все говорили, даже большая часть не говорила, мы не верили, что нам это понадобится, но мы любили язык, мы понимали его, потому что он говорил абсолютно свободно. И он не пытался, там, по газете «Нойес Дойчланд» тысячи знаков, чтобы мы сдавали, наоборот, он читал нам стихи и объяснял, что это значит, фактически он нам привил любовь к поэзии в целом.



Гурьевск. Школа номер 11

У нас была замечательная литераторша вообще, Темникова Александра Петровна, она была не из ссыльных, но она мечтала быть актрисой, из города Сарапула, по-моему. Муж ее погиб на фронте, она с сыном приехала к теще в Сибирь, когда немцы к Волге приближались, и так и осталась там. Но ее актерские способности, на нас они... Во-первых, она пела замечательно, и они с завучем пели нам русские романсы, нам устраивали вечера русского романса для школы. Дальше. Она нам первый урок, я очень хорошо помню, в шестом классе, когда как вы думаете, что она прочитала нам? Рассказ «Бежин луг». Когда я потом взялся за «Бежин луг» я подумал, что опять перст судьбы. Но она так прочитала, что мы сидели разинув рот. И она сказала: «Видите, какой язык? А мы как говорим?» И вот с этого началось.

У нас замечательная была математичка, тоже не из ссыльных, из ссыльных была биолог, но математичка, Рыжая Клава, как ее все называли, молодая совсем, приехала туда, потому что у нее кто-то был в ссылке. Она приехала откуда-то из центра, как все говорили, из центра, из Европы, потому что в Сибири Россия — европейская часть, из России приехала Рыжая Клава. Она мгновенно сориентировалась, кто сечет, кто не сечет, кто занимается, и она дифференцировала задания по способностям, чтобы не травмировать детей, ну кто не способен к математике — ну будет у тебя четверка или тройка, но не будет двойки, а кто на пятерку — ты у меня двойное задание сделаешь. И она меня так вытренировала, что я потом поступил на физмат, и проучился на физмате. Она мне все время давала решать оба варианта, когда писали два варианта для сидящих рядом.



Гурьевск. Бабушка Фейга (приехала в гости) и мама

Е.Г.: У вас были способности?

Н.К.: У меня да, у меня оказались математические способности. Но этот принцип дифференцировать отношения, чтобы не травмировать детей, я думаю, это был принцип школы, а не только ее личный. Я просто помню, как уважительно к нам относились, это очень важная вещь для школы.

И последнее, что я вам хочу сказать о школе удивительное: когда начались все эти гонения в связи с делом врачей, в 52-м году, это было очень трудно. И все ждали, что теперь пошлют уж точно в лагерь, потому что была градация. Мы были самой мягкой формой, так сказать, репрессий — спецпоселенцы.

” Но рядом был Сиблаг так называемый, совсем близко, севернее металлургического завода, который был в Гурьевске, и попасть в Сиблаг — это было страшно. Вообще страшнее было попасть на Колыму, про Колыму все знали.

Поэтому как далеко пойдет, и нам еще повезло, нашему эшелону, что мы застряли в Кузбассе и там не разделили семьи, потому что первые эшелоны, которые ушли на Восточную Сибирь, они попали в Иркутскую область. Там почти все мужики были мобилизованы на лесоповал и половина погибли там. Поэтому фактически нам повезло. Мы все ждали худшего. Я помню, что в 52-м году нашелся один негодяй в папиной этой самой мастерской сапожной, который стал обвинять папу, что он специально сделал дурные колодки, хотя колодки были лучшие, чтобы доставить мучения трудящимся. Слава богу, что начальник был нормальный человек, он тому «надавал по шее» пропойце, перед папой извинился и сказал: «Я тебе премию дам на будущий месяц, чтобы только ты не думал, хуже не будет». И в школе я не помню, чтобы у нас хоть одно было совещание или собрание школьное, комсомольское или общее, по поводу дела врачей. Это было в 10-й школе, и нам рассказали, что там просто все, кто учились в 10-й школе ребята из ссыльных, все просто пришли с опущенными лицами. У нас в школе этого ни разу не было.



Гурьевск. Папа, мама, брат и семья Коган

И я должен сказать, что нам еще в одном повезло, пожалуй, — дело в том, что Гурьевск город старый, там был первый завод металлургический, сделанный при Екатерине, поэтому было очень много инженеров, которые приехали еще в 30-е годы строить металлургическую промышленность, и, собственно, Гурьевск дал импульс Новокузнецку. И многие потом в Новокузнецк переехали из Гурьевска, те, кто набрали там квалификацию, это в 30-е еще годы. И вот что удивительно: те, кто работали раньше в Гурьевске, а потом переехали в Новокузнецк, стали «вытаскивать» спецпоселенцев туда же, за собой. То есть очень многих из моих школьных товарищей благодаря протекции этих «вольных», которые понимали, что, во-первых, это невинные люди, во-вторых, более-менее интеллигентные люди и честные люди, они их стали вытаскивать в Новокузнецк. А как только умер Сталин, — тоже был маленький шок, небольшой, потому что некоторые впали в панику: ах, что будет сейчас! Вот Берия придет к власти, это нас точно загнобят, да? Папа мой, наоборот, был в этом смысле умный человек, он сказал, что...

Е.Г.: Понял.

Н.К.: Да. «Наконец, теперь есть надежда».

Освобождение спецпереселенцев

И стали освобождать в 55-м году. Стали искать, каким способом: суда нет, никаких нет статей, по которым можно освободить, потому что осуждены, скажем, неверно, да? А как-то надо освобождать. Поэтому

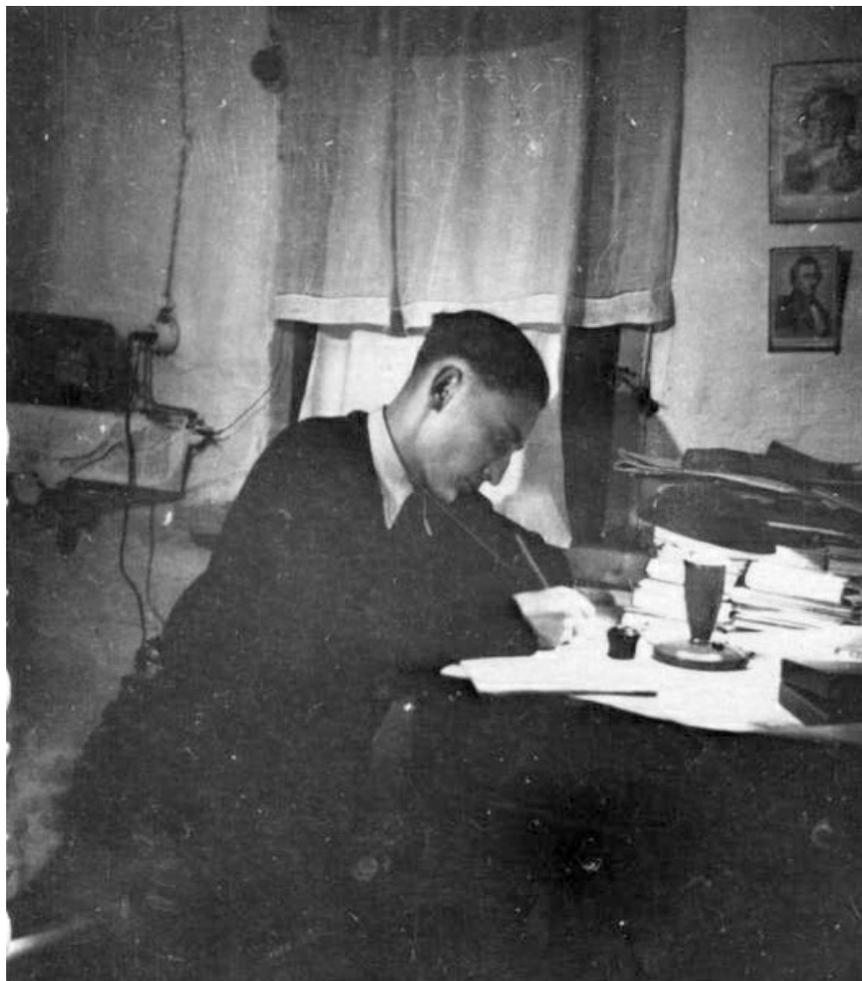
придумали: сначала всех награжденных в войне освобождают, папу освободили. Мы с мамой остались со штампом, потому что у меня наступил день шестнадцатилетия. Меня, естественно, пригласили в комендатуру и сказали: «Давайте паспорт», сделали штамп, что «запрещено за пределы города Гурьевска», даже там не рекомендовали на станции появляться, могло быть сочтено попыткой побега. И вдруг папу освобождают. Потом 55-й год — год окончания школы. Проходит сначала слух, что все, кто поступит в вуз, будут освобождены. А где можно поступать в вуз? Значит, понятно, что рядом Новокузнецк: металлургический завод, педагогический институт, металлургический институт, горный институт. В Кемерово есть еще химический, есть Томск, но в Томск могут не разрешить поехать. А в Новосибирск точно нельзя.



Гурьевск. С Марусей из 10 «Б» в день ее рождения

Е.Г.: В большие города?

Н.К.: Да. И тут выясняется вся ситуация с этими медалями, поскольку я был дурак и круглый отличник все время и сейчас думаю, скольких радостей я лишился в детстве. Но это тоже, знаете, такая старая закономерность на Руси, когда говорили еврею: если хочешь как-то выжить, ты обязан учиться, потому что это тебя спасет. Ты был обязан овладеть профессией, ты обязан знать хорошо свое дело, иначе будет плохо. Это было почти что, это не говорилось прямо, это было как бы неписанным законом, в общем, с царских времен еще, это не было открытием советской власти. Поэтому не то что мне это трудно давалось, но, конечно, времени отбирало много, а я любил очень читать, поэтому любую свободную минуту я читал, а так делал уроки прилежно. И тут еще медаль светит, и это уже надежда.



Гурьевск. Якобы делаю уроки. Фото Марка Гринберга

Когда возник вопрос, куда ехать, у нас были родственники в городе Фрунзе, столице Киргизии, и они нам сообщили: вы знаете, у нас тут сосланные ингуши и чеченцы, и есть комендатура, поэтому, если хотите, можно добиться, чтобы Наума прислали сюда в университет, а здесь хороший университет, здесь хорошие педагоги. И я, как ни удивительно, получил разрешение, получивши медаль, разрешение ехать со справкой — в приложение к паспорту, — что мне разрешено из одной комендатуры перейти в другую комендатуру, встать на учет и поступать в вуз.

Поездка во Фрунзе. Поступление в вуз

Я гордо с этой справкой поехал через Турксиб, это вторая добровольная поездка в жизни, в город Фрунзе. Там все всё понимали, потому что я пришел в университет, секретарша посмотрела и сказала: «Идите к ректору, пусть он скажет. Медаль золотая, да? Ну, надо собеседование пройти, он у нас мате... вы на математический». А это тоже забавная история. У нас в школе делали собеседование последний год, советовали, кому куда идти. На мне разделились мнения педсовета, потому что наша литераторша Александра Петровна говорила, да нет, он филолог, типичный, гуманитарий, ему надо, он пишет сочинения нормально, пусть идет в Томск, в Томске очень хорошая школа — понятно, что дело в университете. А Клавдия Константиновна, которая Рыжая Клава, говорила: слушайте, он математик прирожденный, пусть идет в математику, это твердая профессия, математики всегда нужны, что ваши филологи, кому? Будет учителем — нечего! И папа, конечно, сказал: ну конечно, мужику нужна профессия

нормальная. Математику выбрали, математика — математика, ладно. И я поехал туда.

Вот киргиз, круглолицый такой, толстый, посмотрел на меня ласковым взглядом, сказал: «А почему к нам поступаешь?» Я говорю: «Мне разрешили из-за штампа в паспорте». — «А! — сказал он. — Так, в шахматы играешь?» Я говорю: «Нет». — «Ну как же так, нам нужно укреплять шахматную команду. Если дашь слово, что научишься в шахматы играть, я тебя беру без собеседования». Я говорю: «Даю слово». И я в одночасье оказался...

В первый день я пошел в комендатуру встал на учет, во второй день я пошел на собеседование, тут я получаю справку, что я принят. И я мчусь туда в комендатуру на второй день, что, а, всё — свобода. А мне говорят: э, так быстро не делается. Я сдал справку, это все должно было уйти в МВД, не знаю куда. А я теперь, если свободный, я имею право выписать маму с братом, да? Мама одна осталась со своим штампом, и мы стали хлопотать о переезде родителей в Киргизию.

А в Киргизии тоже оказалось в это время — 55-й год, 56-й, все чувствуют, что-то происходит, а что, еще никто не понимает. И ясно совершенно, что все дальше уходит от того сталинизма, оттепель уже де-факто была, но еще не было доклада Хрущева на XX съезде. И нам вдруг объявляют, что академик Франкль, ученик Эйнштейна, сосланный в Киргизию, но теперь будет делать Институт теоретической физики. И он набирает сотрудников будущих, с первого по пятый курс делается олимпиада, кто выиграет, попадает в теорфизику, а это Академия наук — это вообще предел мечтаний. И чего-то я такое, а мне дали задание по высшей алгебре, эту матрицу как-то очень хорошо разделал, я до сих пор не помню, теперь уже не помню, что я там делал, как я делал, это все забыто прочно, но я как-то расщелкал это как орешек. Мне сказали: «О, мы тебя рекомендуем».

Все было очень... Родители приехали из Сибири зимой, удалось их вырвать, все-таки цивилизация, город Фрунзе. Было понятно, что маму тоже скоро освободят, даст бог. Тут мне все ясно. А тут еще тетка моя, которая с нами была в эвакуации, из Риги зовет на лето приехать к ним в июне уже (что ли) они выезжают. Так хочется в Ригу, Европу увидеть. Я иду в деканат, говорю: вы знаете что, можно мне сдать загодя сессию, в мае, с тем, чтобы в июне поехать в Ригу и в июле я вернусь (потому что все должны были ехать на хлопок). Я честное слово даю, что я поеду на хлопок вместе со всеми, а в июне я...» И мне дают разрешение сдать. Я сдаю два экзамена из пяти, за первый курс. Спускаюсь вниз...

Да, май месяц, забываю сказать, что к этому времени нам прочитали доклад Хрущева. Слухи уже шли, уже было понятно, что всё, но никто доклада не знал, естественно, и вдруг в мае собирают весь университет, и нам зачитывают весь доклад.

” Я помню эту звенящую тишину, ничего подобного я никогда больше не переживал. Было ощущение такого, как солнце тогда вставало в степи, вот снова встало солнце.

Хотя, конечно, все были потрясены цифрами жертв и так далее. Еще жертвы — были неполные цифры, но тем не менее. Это ощущение одновременно создало порыв куда-то, а куда — непонятно. но все сорвалось с этого якоря, все начало двигаться. Два экзамена я сдал. Честно скажу, у нас была идея, что, может быть, я смогу перевестись в Рижский университет, и тогда мы вытащим папу с мамой туда же, и мы переедем из Фрунзе, из Азии, в Европу, обратно к тетке. Но для этого я должен был поехать туда и посмотреть, что это такое, но я об этом, конечно, в университете не сказал. Хотя мне было жалко теорфизику и мне это было интересно — быть у ученика Эйнштейна, тоже не последнее дело.

Решение заняться кино

Я спускаюсь в мае, сдавши два экзамена, по лестнице, и я вдруг вижу, как двое ребят прикрепляют объявление какое-то внизу, в фойе, и это объявление ВГИКа, что ВГИК объявляет прием на следующие

факультеты: режиссерский, операторский, актерский и киноведческий. Я слово «киновед» впервые прочитал. Я не могу это объяснить рационально, я не знаю, до сих пор не знаю и отказался уже рационализировать, почему в этот момент я понял, что это мое. Вот как будто что-то такое неслышно шепнуло. А внизу было написано от руки и напечатано: «Консультация на киностудии». И я, сдавши второй экзамен, не заходя домой, пошел на киностудию узнать что-то такое про ВГИК, про киноведческий факультет. Помню этого редактора, сидел такой киргиз молодой, который посмотрел на меня и говорит: «Слушай, у тебя кто-нибудь есть в Москве?» Я говорю: «Нет». — «Что, и знакомых даже нет?» — «Нет». — «А где ты собираешься жить?» — Ну я: «В общежитии». — «Ты понимаешь, что такое ВГИК? Там только киношных детей берут, там блат нужен, тебе никогда. Ты учишься — и учишься. А ты пойдешь туда, провалишься и попадешь в армию, тебе это надо? Не надо».



Я смотрю на него и я понимаю, что меня это абсолютно не убеждает.

Я пришел домой и говорю маме сначала. Мама вытаращила глаза: ВГИК, почему ВГИК? О ВГИКе вообще речи не было никогда. Папа пришел с работы, мама говорит: «Спроси его, чего он собрался делать». Я говорю: «Папа, я тебе так скажу...» Он сказал мне: «Кино? Кино — это удовольствие вечером, а чем ты будешь кормить детей, интересно? Ты собираешься вообще думать о будущем всерьез?» В общем, сначала — нет. Это влетело в голову, я пошел в библиотеку, я попросил, какие книжки про кино есть. Я не могу это объяснить до сих пор. Я не пошел сдавать третий экзамен, через два дня я снова пошел на киностудию, потом я сказал, что я поговорю с родителями. Поговорил с родителями, и мама сказала: «Знаешь что, если ты в этом так убежден, поезжай. В конце концов твоя судьба в твоих руках. Я себе не прощу никогда в жизни, если ты когда-нибудь ты меня упрекнешь, что я тебе помешала осуществить то, что, может быть, твое призвание. Может быть». Отец так насупился, сказал: «Опять, ну всегда баловала. Ну, смотри, — говорит, — сам за себя отвечаешь, ты уже взрослый».

К этому времени у меня уже был чистый паспорт. И был второй случай. Мало того, что у меня был чистый паспорт, где-то перед этим зачитыванием доклада Хрущева, это был, наверное, март 56-го года, вдруг вызывают в МВД, в министерство, маму и меня. Мама говорит: «Почему тебя? Если бы только одну меня, я могла понять, меня освобождают, а ты почему здесь?» Я говорю: «Мама, ну я не знаю, почему, ну, наверное, что-то надо». — «Нет, ты не пойдешь». Я говорю: «Но я не могу не пойти». — «Давай договоримся так. Мы доходим до УВД, я поднимаюсь вверх, ты садишься на лавочке. Если они меня освобождают, я выйду, если они потребуют тебя, ты поднимешься». Мы пришли к этому УВД, я чувствую, что я делаю что-то не то, тем не менее почти заставил себя, мама сказала: «Нет, останешься здесь». Я говорю: «Мама, я пойду с тобой». — «Нет, ты останешься здесь». Я остался. Мама поднялась. Минут через сорок выходит в слезах. Я говорю: «Мама, что случилось?» — «Освободили, — говорит мама, — и меня, и тебя второй раз». Разошлись списки, по общему списку меня с мамой освободили, а по студенческому — меня одного. Она говорит: «А ты знаешь, что он мне сказал? Он сказал, считайте, что этого факта в вашей биографии не было». Я говорю: «Как же не было, вы нам жизнь сломали, как же не было?» — «Это значит, что когда вы будете наниматься на работу, то можете не указывать в автобиографии этого факта, мы вам разрешаем — это считается, что этого факта не было в биографии».

Е.Г.: Кошмар.

Н.К.: Но эта логика понятна, да? Чисто бюрократическая — вы можете не указывать в автобиографии.

К тому моменту, когда я решил ехать, я уже был дважды освобожденный, уже отпало запрещение жить в таких городах, как Москва, Ленинград, Рига, Киев и так далее, значит можно было ехать, и я поехал в Москву поступать во ВГИК.

Фотографии из личного архива Н.И. Клеймана.

